

Глава первая

«С севера, юга и запада Европа окружена морями. Естественные ее границы образуют Северный Ледовитый океан, Средиземное море и Атлантический океан. Крайней северной оконечностью Европы наука считает остров Магерё, южную ее оконечность образует остров Крит, а западную — Данмор-Хед. Восточная граница Европы проходит по территории Российской империи вдоль Урала, пересекает Каспийское море, а потом пролегает по Закавказью. Вот здесь наука еще не произнесла свой окончательный приговор. Если одни ученые относят область, расположенную южнее Кавказских гор, к Азии, то другие, в особенности учитывая культурное развитие Закавказья, полагают, что эта земля есть часть Европы. Таким образом, в некоторой степени от вашего поведения зависит, будет ли наш город принадлежать прогрессивной Европе или отсталой Азии».

Учитель самодовольно улыбнулся. У сорока мальчиков, учеников третьего класса императорской российской классической гимназии закавказского города Баку, при мысли о такой бездне учености и бремени ответственности перехватило дыхание.

Какое-то время все мы: тридцать магометан, четверо армян, двое поляков, трое сектантов и один

русский — потрясенно молчали. Потом Мехмед-Хайдар, сидевший за последней партой, поднял руку и произнес:

— Господин учитель, пожалуйста, позвольте нам остаться в Азии.

Ответом ему стал оглушительный взрыв смеха. Мехмед-Хайдар сидел в третьем классе уже второй год. Почти ни у кого не возникало сомнений, что если Баку и далее будет считаться частью Азии, то в третьем классе он останется еще на год. Кроме того, особым министерским указом уроженцам азиатских окраин России дозволялось сидеть в одном классе, сколько пожелают.

Облаченный, как положено по званию, в мундир русского учителя гимназии, Санин наморщил лоб.

— Выходит, Мехмед-Хайдар, вы хотите остаться азиатом? Ну-ка выйдите вперед. Вы можете обосновать свое мнение?

Мехмед-Хайдар встал перед классом, покраснел и замолчал. Он стоял, приоткрыв рот, нахмурившись, с глупым видом глядел в пространство и не говорил ни слова. И пока четверо армян, двое поляков, трое сектантов и один русский потешались над его глупостью, я поднял руку и объявил:

— Господин учитель, я тоже хочу остаться в Азии.

— Али-хан Ширваншир! И вы туда же! Хорошо, выйдите вперед.

Учитель Санин на миг прикрыл глаза, мысленно проклиная судьбу, изгнавшую его на берег Каспийского моря. Потом откашлялся и с важностью продолжал:

— А вы-то, по крайней мере, можете обосновать свое мнение?

— Да, мне в Азии очень хорошо.

— Так-так. А вы бывали в по-настоящему дикарских, нецивилизованных азиатских странах, например в Тегеране?

— Конечно, прошлым летом.

— Ах вот как. Можно ли увидеть там великие достижения европейской культуры, например автомобили?

— О да, и даже очень большие. Рассчитанные на тридцать и более человек. Они ездят не по городу, а курсируют между населенными пунктами.

— Это автобусы, и они заменяют железную дорогу. Вот что значит отсталость. Садитесь, Ширваншир.

Тридцать азиатов заликовали и стали бросать на меня одобрительные взгляды.

Учитель Санин раздосадованно замолчал, ведь в его обязанности входило воспитывать учеников достойными европейцами.

— А бывал ли кто-нибудь из вас, например, в Берлине? — вдруг спросил он.

Сегодня ему положительно не везло: сектант Майков поднял руку и объявил, что побывал в Берлине в раннем детстве. Он до сих пор живо помнил душную, пугающую подземную железную дорогу, шумные поезда и бутерброд с ветчиной, который приготовила ему мать.

Мы, тридцать магометан, несказанно вознегодовали. Сеид Мустафа даже попросил разрешения выйти, потому что при одном упоминании ветчины ему сделалось дурно. На том дискуссия о географической принадлежности города Баку и завершилась.

Прозвенел звонок. Учитель Санин с облегчением вышел. Сорок учеников бросились вон из клас-

са. Наступила большая перемена, и провести ее можно было за тремя занятиями: выбежать во двор и поколотить учеников соседнего реального училища за то, что они щеголяли в золотых пуговицах и золотых кокардах, в то время как мы довольствовались серебряными; или поговорить друг с другом по-татарски, чтобы нас не понимали русские, — в нашей гимназии это воспрещалось; и наконец, перебежать улицу, чтобы проникнуть в женскую гимназию Святой царицы Тамары.

В гимназии Святой царицы Тамары девочки в скромных синих форменных платьях с белыми передниками гуляли по саду. Меня поманила моя кузина Аише. Я проскользнул в садовую калитку. Аише шла, держась за руки с Нино Кипиани, а Нино Кипиани была самой прекрасной девочкой на свете. Когда я поведал им о том, как бросился в бой на полях географии, самая прекрасная девочка на свете наморщила самый прекрасный на свете носик и произнесла:

— Али-хан, какой ты глупый. Слава богу, мы в Европе. Если бы мы жили в Азии, я бы давным-давно уже носила покрывало и ты бы не смог меня увидеть.

Я признал себя побежденным. Неопределенное географическое положение города Баку позволило мне наслаждаться созерцанием самых прекрасных глаз на свете.

Опечаленный, я потихоньку ступал и прогуливал остаток занятий. Бродил по узким улочкам, поглядывал на верблюдов, на море, думал о Европе, думал об Азии, о прекрасных глазах Нино и грустил. Навстречу мне попался нищий с покрытым гноящимися язвами лицом. Я подал ему милосты-

ню, и он хотел поцеловать мне руку. Я испуганно отпрянул. А потом два часа искал этого нищего по всему городу, чтобы дать облобызать руку. Ведь мне показалось, что я его оскорбил. Я его не нашел и мучился угрызениями совести.

Все это случилось пять лет тому назад.

За эти пять лет произошло множество событий. Нам назначили нового директора, который предпочитал хватать нас за воротник и трясти, ведь давать гимназистам пощечины строго воспрещалось. Учитель Закона Божьего весьма доходчиво объяснил, какую милость явил нам Аллах, позволив родиться магометанами. В класс к нам поступили двое армян и один русский, а двое магометан выбыли: один потому, что в свои шестнадцать лет женился, а другой потому, что на каникулах был убит врагами по законам кровной мести. Я, Али-хан Ширваншир, трижды побывал в Дагестане, дважды в Тифлисе, один раз в Кисловодске, один раз у дяди в Персии и чуть было не остался на второй год, так как не сумел отличить герундий от герундива. Мой отец поговорил о моем провале с муллою, и тот объявил ему, что вся эта латынь — пустое и вздорное безумие. После этого отец надел турецкие, персидские и русские ордена, поехал к директору, пожертвовал деньги на приобретение для гимназии какого-то физического прибора, и меня перевели в следующий класс. Тем временем в гимназии повесили плакат, гласивший, что ученикам строго воспрещается входить в здание с заряженными револьверами, в городе провели телефонную связь, открыли два кинематографа, а Нино Кипиани по-прежнему оставалась самой прекрасной девочкой на свете.

Всему этому вскоре предстояло закончиться, всего одна неделя отделяла меня от выпускных испытаний, и я сидел у себя в комнате и размышлял о бессмысленности латинских уроков на берегу Каспийского моря.

Комната моя, красиво обставленная, располагалась на третьем этаже нашего дома. На стенах висели темные бухарские, исфаханские, кашанские ковры. В извилах их узоров угадывались очертания садов и озер, лесов и рек — таких, какими представляли они в фантазии ткача, совершенно незаметные глазу невежды и невыразимо прекрасные для взора знатока. Кочевницы из далеких пустынь собирали в диких зарослях колючего терновника травы, из которых изготавливали красители. Тоненькие длинные пальчики выжимали сок из этих трав. Тайне этих нежных красок много веков, и зачастую ткачу требовалось целое десятилетие, чтобы завершить свой чудесный шедевр. Потом он вешает на стену ковер, испещренный таинственными символами, украшенный едва намеченными, лишь угадываемыми сценами охоты и рыцарских поединков, обрамленный каллиграфически вытканной строкой: стихом ли Фирдоуси, мудрым ли изречением Саади. Из-за множества ковров комната кажется темной. Низкий диван, два табурета, инкрустированных перламутром, много мягких подушек — и по всему этому разбросаны вызывающие крайнее раздражение и крайнюю же скуку книги, вместилище западной премудрости: учебники по химии, латыни, физике, тригонометрии — вздор, придуманный варварами, чтобы скрыть свое варварство.

Я со стуком захлопнул книги и вышел из комнаты. Узенькая застекленная веранда, откуда от-

крывался вид на двор, вела на плоскую крышу дома. Я поднялся наверх. Стоя на крыше, я окинул взглядом свой мир: толстую крепостную стену старого города и руины дворца с арабской надписью над входом. По лабиринту старинных улиц шествовали верблюды с такими тоненькими лодыжками, что возникало искушение их погладить. Передо мной возвышалась приземистая круглая Девичья башня — любимый предмет легенд и путеводителей. Дальше, за нею, начиналось море, лишённое всякой истории, свинцово-серое, бездонное Каспийское море, а за моей спиной простиралась пустыня с ее острыми утесами, песком и саксаулом, спокойная, безмолвная и непобедимая, самый прекрасный пейзаж на свете.

Я тихо сидел на крыше. Меня совершенно не интересовало, что существуют другие города, другие крыши и другие пейзажи. Я любил плоское море, и плоскую пустыню, и затесавшийся меж ними старый город, его разрушенный дворец и шумных людей, которые прибывали в этот город, искали нефть, а потом, разбогатевав, уезжали отсюда, потому что не любили пустыню.

Слуга принес чай. Я отпивал глоток за глотком и думал о выпускных испытаниях. Они не слишком-то меня тревожили. Разумеется, я выдержу. Но даже если и останусь на второй год, тоже не беда. Тогда крестьяне у нас в имениях скажут, что я, со всем пылом возревновав о приличествующей мудрецу учености, не пожелал покинуть дом знания. Да и в самом деле жаль было уходить из гимназии. Серая форма с серебряными пуговицами и кокардой выглядела элегантно. В штатском платье вид у меня будет куда невзрачнее. Однако штат-

ское платье носить я буду недолго. Всего одно лето, а потом — да, потом поступлю в Лазаревский институт восточных языков в Москве. Я сам его выбрал, там у меня будет немалое преимущество перед русскими. То, что им придется заучивать с трудом, я знаю сызмальства. А еще, нет красивее формы, чем у студентов Лазаревского института: красный мундир с золотым воротником, с узкой позолоченной шпагой и лайковыми перчатками даже по будням. Не будешь носить форму — русские тебя уважать не станут, а если русские меня уважать не станут, Нино за меня не пойдет. Но я должен во что бы то ни стало жениться на Нино, хотя она и христианка. Грузинки — самые прекрасные женщины на свете. А если она не захочет за меня выйти? Что ж, тогда я призову себе в помощь парочку лихих молодцов, переброшу Нино через седло и умчу ее через персидскую границу в Тегеран. Тогда уж она за меня непременно пойдет, что же еще ей останется-то?

Если смотреть с крыши нашего бакинского дома, жизнь представлялась прекрасной и несложной.

Керим, слуга, тронул меня за плечо.

— Пора, — промолвил он.

Я встал. Действительно, мне стоило поторопиться. На горизонте, за островом Наргин, показался пароход. Если верить бланку с печатным текстом, доставленному нам домой телеграфистом-христианином, то на этом пароходе плыл к нам мой дядя со своими тремя женами и двумя внуками. Мне надлежало его встретить. Я сбежал по лестнице. Мне подали карету, и мы быстро покатали вниз, к шумной гавани.

Мой дядя занимал весьма высокое положение. Шах Насер ад-Дин удостоил его особой милости, даровав ему титул Ассад ад-Довле — «Лев империи». Иначе его и величать нельзя было. У него было три жены, множество слуг, дворец в Тегеране и обширные поместья в Мазендеране. Ради одной из своих жён, малютки Зейнаб, он и прибыл в Баку. Ей сравнялось всего восемнадцать, и дядя любил ее больше прочих жён. Она была больна, она не могла забеременеть, а именно от нее дядя хотел детей. Для исцеления от бесплодия она уже ездила в Хамадан. Там посреди пустыни возвышается высеченная из красноватого камня статуя льва, устремившего задумчивый взор куда-то вдаль. Ее воздвигли древние цари, от которых и имен не осталось. Вот уже много веков женщины совершают паломничество к этому каменному льву, уповая на то, что теперь смогут испытать радость материнства и родить множество детей. Но лев не помог бедняжке Зейнаб. Столь же бессильны оказались амулеты дервишей из Кербелы, заклинания мудрецов из Мешхеда и тайные искусства тегеранских старых ведьм, знающих все секреты любви. Теперь она приехала в Баку, чтобы благодаря знаниям западных врачей излечиться от недуга, который не сумела победить местная, восточная, мудрость. Бедный дядя! Ему пришлось взять с собой и двух других жён, старых и нелюбимых. Этого требовал обычай: «Можете иметь одну, двух, трех или четырех жён, если будете обращаться с ними одинаково». Но обращаться одинаково означает и одаривать одинаково, и радовать одинаково — и вот уже все три жены едут вместе с моим дядей в Баку.

По совести говоря, меня все это касаться не должно. Женщинам место в андеруне, закрытых от посторонних глаз домашних покоях. Благовоспитанный человек не упоминает о женах, не задает о них вопросов и не передает им привет. Они — тени своих мужей, даже если их мужьям покойно только в тени этих женщин. Это мудрый, добродетельный обычай. «У женщины ума не больше, чем на курином яйце волос», — гласит одна из наших пословиц. Созданий, лишенных ума, надлежит неусыпно охранять, а не то они навлекут несчастье на себя и на других. Думаю, это мудрое правило.

Маленький пароход подошел к причалу. Матросы с широкой волосатой грудью спустили сходни. Пассажиры — русские, армяне, евреи — ринулись вниз в безумной спешке, торопясь как можно скорее попасть на твердую землю, словно речь идет о жизни и смерти. Мой дядя не показывался. «Торопливость внушает дьявол», — всегда повторял он. И только когда все пассажиры сошли на берег, на палубе показалась величественная фигура «Льва империи».

Он был облачен в сюртук с шелковыми лацканами, на голове его красовалась маленькая круглая черная каракулевая шапочка, а на ногах — туфли без задников. Его окладистая борода была крашена хной, как и ногти, в память о крови, тысячу лет тому назад пролитой мучеником Хуссейном за истинную веру. Маленькие его глазки смотрели устало, двигался он медленно. За ним шагали, явно взволнованные, три женщины, с головы до пят окутанные непрозрачным черным покрывалом, — его жены. А за ними шествовали двое внуков, которым вменялось в обязанность оберегать

честь его светлости: один, всем своим ученым видом напоминавший засушенную ящерицу, другой — маленький, пухлый и горделивый.

Дядя медленно сошел по сходням. Я обнял его и почтительно поцеловал в левое плечо, хотя на улице такое изъятие вежливости и не считалось обязательным. Его жен я не удостоил и взглядом. Мы сели в карету. Женщины и евнухи поехали следом в закрытых колясках. Перед нами открывался столь восхитительный вид, что я приказал кучеру двинуться в объезд по Приморскому бульвару: пусть дядя, как положено, восхитится моим городом.

На Приморском бульваре стояла Нино, глядя на меня смеющимися глазами.

Дядя, неторопливо, с достоинством поглаживая бороду, спросил, что нового в городе.

— Да ничего особенного, — произнес я, вполне осознавая свою задачу: мне надлежало начать с каких-то пустых мелочей и лишь потом перейти к вещам действительно важным. — Дадаш-бек на прошлой неделе заколол Ахунда-заде, потому что Ахунд-заде вернулся в город, хотя восемь лет тому назад он похитил жену Дадаш-бека. Дадаш-бек заколол его в тот же день, когда он приехал в город. Теперь его разыскивает полиция. Но не найдет, притом что все знают, что Дадаш-бек засел в Мардакяне. Умные люди говорят, Дадаш-бек поступил правильно.

Дядя одобрительно кивнул:

— Нет ли еще каких новостей?

— Да, в Биби-Эйбате русские открыли очередное богатое месторождение нефти. Нобель привез в наши края большую немецкую машину, чтобы

засыпать часть моря и пробурить нефтяные скважины.

Дядя очень удивился.

— Аллах, Аллах, — промолвил он, озабоченно поджав губы.

— Дома у нас все благополучно, и, если Богу будет угодно, на следующей неделе я покину дом знания.

Так я говорил и говорил, а старик с торжественным и сосредоточенным видом слушал. И только когда карета уже стала подъезжать к нашему дому, я отвел глаза в сторону и произнес:

— В город приехал из России один знаменитый врач. По слухам, он очень сведущ в своем ремесле и по лицу человека читает его прошлое и настоящее, чтобы провидеть его будущее.

Дядя внимал мне с притворной скукой, приличествующей его положению, слегка прикрыв глаза. Совершенно безучастно спросил он меня, как зовут мудреца, и я понял, что он очень доволен мною. Ибо я вел себя, как пристало достойному, хорошо воспитанному молодому человеку.

Глава вторая

Втроем — мой отец, мой дядя и я — сидели мы на плоской, защищенной от ветра крыше нашего дома. Было очень тепло. На крыше были разостланы мягкие разноцветные карабахские ковры, украшенные варварскими гротескными узорами, и мы сидели на них по-турецки. За спиной слуги держали фонари. Перед нами на ковре было расставлено великое множество восточных лакомств: пахлава, засахаренные фрукты, барашек на вертеле, плов с курицей и изюмом.

Как и прежде, я восхищался изяществом, с которым вкушали яства мой отец и мой дядя. Одной правой рукой они отрывали большие куски лепешек, раздвигали их, словно кармашек, наполняли мясом и отправляли в рот. Необычайно элегантно мой дядя запускал три пальца правой руки в блюдо с жирным дымящимся пловом, брал горстку, сминал ее, вылепливая шарик, и клал в рот, не уронив ни единого рисового зернышка.

Ей-богу, русские непомерно кичатся своим умением есть ножом и вилкой, хотя и дурак овладеет им за какой-нибудь месяц. Я спокойно ем ножом и вилкой и знаю, как положено вести себя за столом у европейцев. Но хотя мне уже восемнадцать, я не могу с таким же благородством манер, как мой отец и мой дядя, всего тремя пальцами правой руки

расправляться с целым рядом восточных яств, даже не запачкав ладонь. Нино называет наши застольные обычаи варварскими. В доме Кипиани всегда едят, сидя за столом, по-европейски. У нас так едят, только когда в гости приходят русские, и Нино ужасается при мысли, что я сижу на ковре и ем руками. Она забывает, что ее собственный отец впервые взял в руки вилку, когда ему исполнилось двадцать.

Полужинав, мы помыли руки. Дядя произнес краткую молитву. Потом кушанья унесли. Подали маленькие чашечки с густым темным чаем, и дядя принялся разглагольствовать, как это обычно делают пожилые люди после обильной трапезы, странно и весьма многословно. Мой отец лишь иногда вставлял несколько слов, а я и вовсе молчал, как того требовал обычай. Говорил только мой дядя, а предметом своим, как всегда приезжая в Баку, избирал времена великого Насер ад-Дина, при дворе которого он некогда играл важную, хотя и не очень понятную роль.

— Тридцать лет, — промолвил дядя, — возлежал я на ковре милостей, каковых удостаивал меня по доброте своей шахиншах. Трижды его величество брал меня с собою в заграничные путешествия. Во время этих поездок я узнал мир неверных лучше, чем кто бы то ни было. Мы посещали императорские и королевские дворцы и встречались с самыми знаменитыми христианами нашего времени. Это очень странный мир, но самое странное в нем то, как там обходятся с женщинами. Женщины, даже супруги королей и императоров, расхаживают по дворцам, сильно оголившись, и никогда это не возмущает, быть может, потому, что среди

христиан нет настоящих мужчин, быть может, по какой-то иной причине, одному Аллаху ведомо. Зато неверных возмущают совершенно безобидные вещи.

Однажды его величество был приглашен на пир к царю. Рядом с ним сидела царица. На тарелке его величества лежал лакомый кусочек курятины. Его величество взял этот лакомый жирный кусочек — как полагается по всем правилам, тремя перстами правой руки — и переложил его со своей тарелки на тарелку царицы, чтобы тем самым оказать ей любезность. Однако царица побледнела как полотно и от страха закашлялась. Позднее до нас дошли слухи, что многие придворные и великие князья были до глубины души потрясены этим простым жестом вежливости, совершенным его величеством шахом. Вот сколь унижительное положение занимают у европейцев женщины! Их оголяют перед всем миром, с ними можно обходиться сколь угодно невежливо! Французскому посланнику было даже позволено после окончания пира обнять супругу царя и закружиться с ней по залу под звуки отвратительной музыки! Сам царь и многие офицеры его гвардии взирали на это зрелище совершенно спокойно, и никто и не подумал защищать честь царя.

В Берлине мы стали свидетелями зрелища еще более странного. Нас привели в оперу. На большой сцене стояла толстуха и пела омерзительным голосом. Опера называлась «Африканка»¹. Голос певицы не пришелся нам по вкусу. Кайзер Вильгельм, заметив это, тотчас повелел наказать эту женщину.

¹ Опера Джакомо Мейербера на либретто Эжена Скриба (1865). — *Здесь и далее примеч. перев.*